



Степан Исаков (1884—1921) родился 28 октября 1884 года в селе Волчиха Славгородского уезда Алтайской губернии в семье крестьянина. Окончил двухклассную сельскую школу, много занимался самообразованием. Работал сельским писарем, помощником волостного писаря в селе Малый Башцелак Бийского уезда. В 1912 году в барнаульской газете «Жизнь Алтая» был опубликован его первый рассказ «По ягоды».

Последние годы жизни Ст. Исакова — с 1917 по 1921 — являются наиболее плодотворными. В 1917 году он закончил повесть «Деревня», в 1919 — рассказы «Мать», «Оскудевшие», «Край обездоленный», в 1920 году работал над повестью «Голгофа».

В это же время он предпринимает издание литературно-художественного журнала «Сибирский рассвет».

В мае 1918 года на него обрушилось большое личное горе — умерла жена, а в 1920 году в деревне один за другим от воспаления легких погибли два сына. К весне 1921 года у Ст. Исакова обострился процесс туберкулеза, потребовался срочный выезд в Крым, но до места он не добрался. В Москве он слег и умер 19 августа 1921 года.

Незавершенная повесть «Голгофа» — самая большая творческая удача писателя. Главное в ее содержании — рассказ о трагической ночи перед казнью тринадцати пленных партизан. По-разному вели себя эти люди перед смертью, по-разному думали и о самой смерти эти защитники советской власти, но ни один из них не потерял человеческого лица, когда пришел его смертный час.

Так создавал свои «два мира» Ст. Исаков, не зная еще, что над этим скоро будет трудиться вся пока находящаяся в колыбели советская литература.

**Степан ИСАКОВ**

## ГОЛГОФА

ПОВЕСТЬ

*И пришедши на место, называемое Голгофой, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью...*

*Еванг. Матф., гл. 27, стр. 33—34*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Ступила теплой ступней на землю весна: оголила косогоры страстным дыханием, окрасила рдяным зори. Но еще темны были леса и долины — только начали одеваться зелеными одеждами, и белыми алмазами блистали снега там, в горных высотах.

Громовые песни пели буйные потоки, и

искрист был их стремительный бег; нежились небо голубым, смеялось земле; ходили клубы белых облаков, путались в синих лесах и тянулись влажными поцелуями к небу.

Всему смеялось волнце — и земле, и небу, и белой пене стремнин, и первому паучку, и зеленой ящерице на горячем камне, и голубому ветерку в темной долине... Смеялось все — и леса, и реки, и горы, и дети...

В медвяном томлении ликовала земля. ...Смеялись дети, встречая радость оживших долин и лесов; пели их души и струили к небу весенние гимны. А люди — грубые люди, взрослые люди, — знойно жажда власти друг над другом и жажда пресыщающих беспутств, вершили страшное.

Однажды, безумно беспутствуя и упившись музыкой войны, потеряли власть господа. Стали рабы к колесу истории и повернули его. Но слишком любили власть господа. И вот, злыми проясками и злыми кознями, вербуя обманами и посулами, снова набрали господа силу и двинули ее на рабов, ставших к машине права и власти. И свернули их...

И вот, когда солнце смеялось детям, а дети смеялись солнцу, ждущие новых беспутств и излишеств приверженцы старых устоев абсолютизма — белогвардейцы — в дикой злобе, кроваво торжествуя, гнали красных в горные дебри, круша и уничтожая всех. Точно дикие орлы преследовали стадо вольных зверей, и не было конца кровавым расправам.

...В подоблачные высоты Алтая уходили красные, уже потеряв надежду спастись в степях и долинах. Без дорог и троп, переходя стремнины, обдирая одежды в лесах и обувь в камнях, вышли они к вечным льдам. Тут только камни и солнце, льды и ветры.

Казалось, не было дальше пути, но знали — там, за пустыней льдов и гранита, — снова цветущие горы. И шли, близясь к покою смерти: все равно белые встретят.

Но тот, кто уже принял смерть в сердце, и тот, кто малодушно мечтал о милости господ, или тот, кто был горд своими ловкостью, умом и отвагой, надеялся проникнуть к городам сквозь кольцо облавы, — терялись кучками или поодиночке в горных дебрях, уходили из отряда и спускались в долины. А тут, в долинах, брали их белые, вводили в штабы и расстреливали без суда и допроса, обезоруженных и уже беспомощных — уничтожали, как сорные плевелы. И знали об этом красные и все-таки шли в долины.

Дикие были кровавые оргии победителей — белые.

День за днем, час за часом уходила цепь оргий в поток грядущего, оставляя на земле другую цепь — безумств и жестокостей. И уже сами палачи были пьяны от крови, но вершили свое. Не светило солнце для них. Поил ужас души безумных — пресыщением, холодом, жестокостью и мраком. Властвовал. И уже не вершителями чего-то были белые, уже забыли и причины и цели своей кровавой поступи, а слепыми поводырями нагло хохочущей, но зрячей судьбы.

А жертвы весенние гибли безымянно и безвестно. Лишь молились по ночам старые люди деревень о прощении неотпущенных грехов убиенным, да выли собаки над свежей кровью, точно служа панихиду...

## 2

Привели однажды светлым вечером в штаб двух красноармейцев. Пожилой был один — бледный и угрюмый, как холодный

день, и молчал, а другой — совсем еще юноша. Веселы были крупные черты его лица, а в сердце буйными ключами били соки жизни, и любил он говорить со всеми, кого видел, даже с врагами.

Допрашивал их на крыльце волости молодой офицер, но уже полковник, и юноша отвечал на все охотно, но по-своему.

— Интеллигент? — спросил его полковник.

— У нас классов нет, — ответил юноша и засмеялся легко.

— Об этом потом потолкуем. Звать?

— А тоже потом и скажу... — и опять засмеялся юноша, и, казалось, совсем весело. — Обреченным на смерть к чему имена?..

Прыснул бессмысленным смехом кто-то из свиты полковника, а полковник приказал юноше:

— Отвечай, что еще думают делать Сулим, Сухов и вся ваша сволочь?

— Гм!.. — только и ответил тут юноша.

Но не сдержал молчания и сказал в сторону, подчеркивая:

— Нельзя ли по-интеллигентски выражаться?..

А потом рассказал охотно о штабе своем, о вождях, о красногвардейцах:

— Не ждет никто вашей милости и не просит... И не помилуют, если попадетесь вы, а это потом будет... В ледниках они теперь и пойдут еще выше: там ближе солнце и не воняет вами...

И ахнул, покачав головой:

— Если бы полисли было вашей у нас — показали бы, где раки зимуют!.. — И закончил, пряча улыбку: — А может быть, вру все...

И расстреляли утром обоих — и пожилого и юношу, утром в восемь часов. И юноша, идя на голгофу, улыбаясь, просил палачей:

— Если захватите кого живым из наших, передайте от Володи поклон... Его все знали...

Безмолвен был юноша перед самой казнью и тяжело умирал.

А однажды уж слишком болтливым оказался пойманный. Видимо, давимый страхом смерти и воскрешаемый надеждой на милость, рассказал, даже с презрением, быть может, о тайных намерениях красных.

— Сулим и еще некоторые главачи с кучкой сорванцов ушли-таки через горы — в Монголию потянулись, через Черный Ануй, — сказал он. — А остальные расходятся, кому куда любо. И простые красногвардейцы расходятся, и комиссары.

— А ты — комиссар? — смеясь, спросили пленника.

— Я?! — намеренно звонко воскликнул он. — Я по глупости попал к ним!.. Жалованье большие дали, думал: чего не служить — опасности нет. А вот и случилась такая... неприятность.

И закончил уже совсем презрительно:

— Я проклял красных!

— Да? — ответили ему офицеры смехом.

А молодой полковник приказал:

— Расстрелять!

Не успели еще расстрелять этого, как явились сразу четверо. Пришли они внезапно, без конвоя и с винтовками, как из земли выросли, и предложили:

— Сдаемся! С повинной головой явились: хотите казните, хотите милуйте...

Но ясно было — пришли искать милости.

Взяли у них винтовки, три бомбы и повели на косогор.

— Куда же нас? — удивились они.

— На тот свет... — ответил офицер и крикнул: — Того-то забыли! Ведите сюда!

И расстреляли пятерых.

...И вот покойным вечером, когда голубо темнело небо и отчетливо шумела река, а от шума ее в горах хрустело эхо — привели сразу тринадцать человек.

Пестро были одеты они, и многие не походили на рядовых красногвардейцев, в гимнастерках, в пиджаках, один в студенческой тужурке, а у другого дрожало на носу слабое пенсне. Особый интерес вызвали новые пленные у офицеров. И совсем интересным показалось им то, что среди пленных была женщина в ярко-красной кофточке.

Осмотрел всех на крыльце полковник; всматривался в каждое лицо, точно искал знакомых; остановился потом любопытным взглядом на женщине и сказал офицеру просто так, делая впечатление:

— Комиссаршиной запахло.

И опять положил взгляд на красное лицо женщины:

— Сестра?

Молчала женщина. Но кто-то непрошенный из них же ответил полковнику сырым голосом, точно защищая ее:

— Сестра милосердия...

— А может быть, б.?

Ухмыльнулся остроте полковника унтер-офицер с колючими усами и метнул к козырьку ладонь:

— До утра побережешь, ваше высокоблагородие?

— Да, — ответил полковник.

Покойное было и безличное в его разговоре, особенно в ответе, даже ленивое: еще и на пустяки отвечать, и отвернулся.

А унтер-офицер повел пленных в каталажку, издеваясь на пути:

— Эдо-орово вытряхивают вас из горто... Не успеваем ловить... Хо-од!.. Эх, тетери вы, тетери мокрые!

Посмотрел уже без иронии на людей в городских костюмах, сверкнул остро колючими глазами и заскрипел, кося морщинами на лбу:

— Молите бога, потемки накрыли, а то бы чик-чик! Понятно?

Разделив потом на две партии пленных — в одну шесть, в другую семь, распахнул две двери двух каталажек и пригласил, все издеваясь:

— Пожалуйте уж, гостеньки дорогие... Не обессудьте на тесной квартире.

И, запирая красных на замки, пообещал зло:

— Завтра еще темнее будет...

### 3

Пришли в школу два офицера — Коровин с вздрагивающей челюстью и Гена Силенцов, еще молодой, совсем юноша, — вызвали на крыльцо обеих учительниц, и Гена сказал, наливаясь деловитостью:

— Мы занимаем вашу школу.

— У нас экзамены, — сказала учительница в строгом платье.

— Простите, — ответил Гена. — Во-первых, на одну ночь; а во-вторых, теперь не до экзаменов. Можно науку оставить пока, когда кровь проливает народ...

— А вам для чего школу? — пряча страх и растерянность, спросила вторая учительница, беленькая барышня.

— Мы выпить хотим — вот в чем дело... — лукавя глазами, заговорил с нею юноша. — У нас, видите ли, все готово, но нет помещения. Здесь нас — он да я, а полковник уехал на фронт... И мы могли бы где угодно устроиться, но вот — гости едут. Через полчаса придет новый батальон, остановится здесь на ночевку, а там — товарищи. Как же не угостить, провожая их на фронт?

И метнул к козырьку руку:

— Так надемся, господа!

Офицеры сошли с крыльца, молодо рисуясь на глазах учительниц.

Потом пришли солдаты, расчистили класс, составили столы и ушли. А когда было совсем темно, явилось несколько офицеров — хозяева и гости — расставили закуски — хлеб, масло, мясо, чайные чашки, огромные чайники с самогонкой и, ожидая еще гостей, повели веселые разговоры.

Как будто не было фронта и не было заключенных, а молодежь не победителями были, насыщенными кровью, а милой молодежью, что учится и что молодым весельем населяет города. И глаза были у некоторых молоды и веселы, и шутки просты и приятны. А один — доброволец Паша — точно девушка, сидел у окна, поигрывал ветренником\*, видимо, мечтая томно, и краснел, перед всеми, кто заговаривал с ним.

Но лопнуло вдруг милое, и показались страшные язвы.

Вошли двое новых гостей, звеня шпорами, и, уже зная о заключенных, сказал один еще у дверей:

— Раз угощать, так угостите и человечинкой!..

И засмеялся молодо. А другой, метнув по классу круглыми глазами совсем без улыбки, рассыпал трескучий голос:

— По-римски ба: факелы живые смастерить в ночи темной...

— Старо! — ответили у стола.

А Коровин, тряся челюстью и кривя улыбкой лицо, уже серьезно, переходя на деловой тон, сказал:

— Для боевого навыка можем представить их вам, хорошо?.. Мы будем зрятелями, а вы...

— Позвольте! — воскликнул у окна Паша; но застыдился и не сказал ничего больше.

Подошел к нему улыбающийся Гена и, заикаясь немного, тряхнул рукой:

— А дрогнет у вас рука — мы живое!..

— У нас? — спросили у него за плечом.

— Да...

— Может быть, у вас?

И вспыхнул Гена, точно затронули его тайный порок.

\* Ветренник, ветреница — местное название сибирского подснежника.

— Ну уж!.. Будь это не нам сказано-с, господа!.. У меня рука не дрогнет и глаз верен... Коровин, а?!

Зашумели, посыпали воспоминания о боевых подвигах. Говорили о подвигах, точно о юношеских шалостях, о безудержных школьных забавах, — и кровавые оргии в словах и смехе их казались невинными пирушками.

А батальонный офицер царской армии, качая широкой грудью стол, ярко освещаемый лампой, смеялся тихонько, вышучивал слегка зеленый задор.

— Господа!.. Папаша Гинс издевается! — крикнул с веселым смехом Гена. — К ответу папашу Гинса!.. Штоф в глотку! Рассыпался раскатистый хохот.

А Гинс, сождав, когда кончился смех, забубнил насмешливо сквозь зубы, точно дразнил, точно возбуждал, будоражил молодое вино.

— Эх, вы-ы!.. Вояки, шут вас задержит! «Зри-ители!» «Гла-аз верен!» Да что вы — офицерство позорить? Связали людей, поставили к стенке, да и хвалитесь: «Победили!» Птенцы-ы желторотые! Галчата! А как выступали третьего дня из города, так в слезы: «Маменька, прости! Папенька, прости! Не ровен случай — погибну...» И в ножки — бух! А куда выступали-то? Убитого добывать!

Махнул рукой.

Но Гена, мятежный юноша, вырос как-то вдруг, блеснул дико хорошими глазами, принял через стол почти к самому лицу старого офицера и забросал вполпад и невполпад вычитанными откуда-то словами:

— Господин капитан! Господин Гинс!.. Ошибаетесь, господин Гинс. Ежели я... Да ведь я же не бравирую!.. Ведь я же не бреттера разыгрываю! О, как несправедливы вы, господин капитан! Я идею защищаю. Понимаете ли вы? Ид-де-ею! Кровь и мозг лью. Идея для меня дороже отца-матери! А вы!.. Недостойно заслугу осмеивать! Да разве галчата мы, ежели кровь врага для меня уж — вино... А? А свою кровь за правду, за народ, за законность океанами хочу лить! И добыюсь — вам говорю, господин капитан, — дерзость хулиганов — сокращу!.. Вот!..

И отступил. А молодежь закричала, устроив гвалт:

— Верно!..

— Истина!..

— Стереть с лица земли большевиков!..

Улыбался, задоря, Гинс, а Гена, восхищенный всем и вдохновленный, кричал, уже наступаая на Гинса:

— И потому... и потому... и потому-то и у стенки пристрелить большевика как бешеную собаку — сладость! Всякий мой выстрел — свобода народу!

И выкинул призыв, точно махнул ярким платком:

— Позор терпеть в свободной стране хулигана!

— Позор, позор! — кричала молодежь.

— Ну, ладно!.. Ну, будет!.. Вы на другое свернули... Будет, бросьте! — отмахивался Гинс, улыбаясь.

— Как на другое?

Развел руками Гинс, погладил мягко глазами Гену и заговорил обижено, заме-

тив, видимо, что ясно видели некоторые его цель.

— Да, я говорю: Митрофанушки вы, недоросли!.. Повыскачили из гимназии, из городских училищ, нашили погоны — и прямым путем в касту военачальствующих... Эка, ведь птицы какие!.. Ребятишки, говорю, молокососы, ни черта не знаете, а — офицеры! Стыдно нам, старикам. А жестокости у вас у каждого на Малюту Скуратова хватит! Нас, стариков, стыдите... Упились кровью — и все мало...

— Позвольте-с!..

— Ничего не «позвольте!» Развратились вы, ополоумели, цинизмом напичкались... Будут большевики у власти — к ним пойдете... Я хорошо вас вижу...

Прервал кто-то Гинса и прервал все неприятное.

— Господа!.. Да в нем желчь разыгралась! — крикнул кто-то. — Человек выпить хочет, а вы умными разговорами глушите... Наливай стаканы!

— Наливай!

— Наливай, брат, наливай!

Кричали, предвкушая выпивку. А Гена уже ясный, с открытой улыбкой говорил всем о Гинсе:

— Смеется над нами... А завтра первым свой наган разрядит. Ворчит, как баба!..

Еще кого-то не было, но решили не ждать. А Гинс обнял одной рукой за плечи Гену, потрепал по круглому плечу тяжелой ладонью, сказал, улыбаясь:

— Ид тебе молодчина-офицер выйдет.

— Да? — спросил польщенный юноша.

— У меня глаз острый... Выпьем?

И выпили первыми по стакану.

#### 4

Казалось некоторым — поселилось что-то страшное в волости, что-то безумное и жло, приучая людей к себе.

Бестелесно было оно, но красно; красными глазами смерти смотрело оно и в яркий день весны и в темную ночь. И пожирало людей, как мясо убины, и хохотало залпным хохотом на всю деревню, на все ближние горы...

Странились люди страшного места, обходили волость далекими обходами. Но если случалось кому проходить мимо большого здания с зеленой крышей, чувствовал остро — жило тут ежесекундно это страшное — величайшее предсмертное напряжение.

И не приучились, и не могли привыкнуть к страшному люди.

Покойными лишь казались слуги его — три офицера и пять солдат. Но и они любили его, как рабы господина. Неприятно оно было и гадко для них; в свою очередь, рабы имели своих рабов.

Когда предстояла красная оргия господина, созывались мужики из села. И, под страхом расстрела, мужики устраивали и торжество пира, и они же сметали потом отбросы его — вялые трупы людей.

Ежесекундно жило тут страшное — величайшее предсмертное напряжение, тут, под зеленой крышей, в веселых окнах комнат, и смертельно давило людей.

Но внешне смотрело на мир простыми

и будничными. Если бы не знать людей, что могут носить они тяжесть незримо и ужас спокойно, казались бы они обыкновенными и будничными — простыми, как и все тут. И здание волости просто и скучно было, и небо над зеленой крышей — повседневно. Человеческое было и в глазах солдат и офицеров, и в подчинении мужиков. Ничего необыкновенного не было, казалось временами многим, ничего не случилось и не случится потом. Все просто и незамысловато — как дома, как на работе, как на вечерних посиделках. И о фронте говорили, и о расстрелах говорили, но так, как будто страшные сказки рассказывали: не было ни того, ни другого, нет и не будет даже, а просто выдумал выдумщик интересное и острое, перенес его вне время, вне место, и увлек всех, и говорили о его сказках, творимых постепенно и не спеша.

Вот светит лампа в сотницкой, как всегда вечерами светила. Темнеют заткнутые чем-то «очки» в дверях каталажек — может быть, есть там кто, а может быть, пусты каталажки — не узнать. Висят по стенам мешочки с хлебом, с сухарями; узелки с салом, с мясом; рвань верхней одежды; на своем месте стоят — у печи самовар, в углу метла; грязен пол и грязен стол, порезанный ножами; на стенах бурые мазки давленных клопов, шуршат тысячи тараканов. Просто и обыкновенно. Все — жильё мужчин-нерях, привыкших к лачужным беспорядкам и грязи.

Вот сидят за столом над грязной пешальницей\* два парня, передвигают темные кубышки по квадратным ляннам, молчат. А на лавках лежат старики, прикрытые рванью. Все — обыденно. И только странно одно — не гогочут парни и не храпят старики.

За дверями в большом зале в потемках копошатся солдаты из батальона, похрустывают запыленными голосами. И на крыльце солдаты из батальона, и на дворе солдаты. Уйдут рано утром они, и опять будет по-старому — привычно и буднично, обыкновенно, как всегда, как год назад, как вчера. Лишь ургумы будут парни и не будут храпеть старики.

Прошивает кто-то в углу под окном цигаркою мрак в зале и тянет побывальщину:

— ...А кум, значит, угощает и угощает... «Выпей да выпей!» Ну и думает Иван Карпыч: почему не выпить и не поздравить кума с богатством? Беден был, а тут валом привалило — хоромы! Взят, значит, стаканчик да по православному обряду перекрестился... Господи, батюшке! Что же оказалось?..

А у порога напевал кто-то тоненько, жалобно, точно во сне, точно оплакивал кого-то в бреду.

Сидели на крыльце солдаты; укладывалась на покой рота в черной ограде; тут же спаянной кучкой около ступенек приникили к земле мужики — наряд из села. Покуривали там и тут, мигая цигарками; гудели голоса.

Рассказывал на крыльце кто-то что-то,

\* Пешальница — доска для игры в шашки.

видимо, нарочный с фронта, а один, шипя мундштуком, вздыхал изредка:

— Вот времячко настало!.. Какая дичь!..

Не вытерпел другой, у колонки, спросил:

— В чем же дикость?

— А скажи, пожалуйста? Ну, понятно еще — немец бы был, ну, куда ни шло, а то — свой брат, мужик да рабочий — а кромсаем друг друга! Ополоумели господа!

— А это еще туда-сюда, — сказал нарочный. — А то утресь двух ребятишек расстреляли.

— Да ой!.. — воскликнули солдаты.

— Хвакт! И откуда появились они? Одиннадцати и тринадцати лет, но — из красных, из ихней армии... Расстреляли...

Мягко накрыла тишина, приглушила говор. Длилась в молчании минута. Давила тишина людей, останавливалась жизнь.

— Ну вот... — выправился из гнетущего молчания голос. — Видал? Без пленных — поголовное избиение. А почему не в тюрьму, не на каторгу, скажем? Прошла смута — выходи тогда, сделай милость... Вон энти, в каталажке... тринадцать... расстреляют ведь!..

— Жиды они! — ясно отделился молодой голос. — А то жидовства нахваталось... Я вижу насквозь...

И взвился, точно в жарком споре:

— Послушаешь вас — сам большевиком сделаешься! Так-то-с!

— А ребятишки?

— Без дыму огня не бывает! — закричал почти, пугая мужиков. — Дело ясно — враг! А врагу — капут! На то он и враг... К чему отечество разрушать?.. Ну-с?

Молчание.

Скрипнула калитка. Закачались две фигуры, поплыли к крыльцу. Остановились на шаг от ступенек, вытянули головы, всматриваясь:

— Мужики?

Узнал, видимо, по голосу молодой на крыльце, шаркнул ногой и ответил четко:

— Солдаты, господин Котов.

— А мужики где?

— Здесь... Эй, мужики!

Зашевелилось спаянное на земле; поднялся кто-то на ноги, вырос и оставался так, словно столб.

— Сколько? — спросил Котов, унтер-офицер с колючими глазами.

— Восьмеро.

— Все тут?

— Все...

— У каталажек есть караул?

Молчание.

— Ну?

Молчание.

— Пошел двое за мной...

Ступил сердито на крыльцо Котов. И другой, что пришел с ним. А молодой непринужденно распахнул двери в волость:

— Солдаты там... Не споткнитесь, господин Котов.

Вошли все трое в сотницкую, спугнули парней.

— На двор не просились? — спросил Котов.

Точно прокрались, вошли мужики, бордатые люди, встали у косяков, остеклене-

ло откинули мутные взгляды к огню и ждали, что будет.

А Котов осмотрел их мшистые лица, кольнул глазами того и другого и заговорил колыче же:

— Тягостно, братцы, и вам и нам... Все тягостно... А отчего? Разбойники стали на царство... Да. Вот и приходится делить всем и счастье и несчастье, чтобы по-хорошему зажить, по-старому... Время тяжелое, но куда денешься? Бороться надо. Вот сейчас вы... Какая обязанность на вас? А большая, братцы, обязанности! Таить нечего... Да вот эти тут в каталажках теперь...

Прикинул, помедлил минуту и повторил упорно:

— В каталажках тут... Кто они? А понашему, самый корень зла тут... Так думаем — сам Сулим, может быть, тут, атаман ихний... Да... Ну, что же делать с ними? А? По-хорошему спросу: что делать с ними? Молчание.

— А делать известно что... Сами понимаете...

И взорвался тут Котов:

— Да что вы молчите, дурачками прикидываетесь?! Ну, что?!

Пали бородастые люди на колени, поднял один руки, точно на молитву, заговорил было, глотая тоску:

— Господин старшой...

Но уже рассвирепел Котов:

— Что-о?! Караулы нести не желаешь? В военное положение военных приказов не исполняешь, а?! Под расстрел хочешь?! Встать!..

Закричал потом, точно захлестал по щекам:

— Караулы нести! Приказы исполнять! Прекословья не делать! Во всем подчиняться!..

И двинул мужиков в темные двери:

— Марш!

И вовсе жутким наполнилась сотническая. Как заговорщики, сошлись тут Котов, солдаты, доброволец. Как-то сами округлились у них мускулы, как-то сами наполнились глаза страшным, как-то сами потемнели лица, точно замазанные бурой кровью... А Котов все бубнил и грозил:

— Я шибу с них!.. Я шибу с них!..

— Перестаньте, господин Котов, — сказал солдат. — Все равно комиссар не твой и деньги не мои...

## 5

В тайном мраке ночи цвело багровое. Пряталось, вздымалось и снова цвело. И немо было оно, как движение мрака, и цветисто, как блеск багровых звезд. Резало душу и ковало цепь незримое, плело канаты отчаяния, а сердце сосали сотни змей. Беспредельна была тоска и бездвижим багровый ужас. Сидели по-прежнему мужики на чистинке у крыльца, уже не тревожимые свирепым унтером. Ушел он, и те двое ушли, что были с ним: уснули солдаты повалкой на дворе, стихло в большом зале волости.

Там у каталажек сидят двое, а здесь шесть. Прядут смертельную тоску молча, прозревая грядущее, и в ужасе тайном клянут проклятое завтрашнее солнце: придвинет оно вплотную то, что гнетет бездонным

гнетом теперь. Убьют тринадцать и убьют собственные души...

Не о чем говорить и не о чем думать — все решено. Так же цвели багровым в прошлый раз Кирилла Подволошин, братья Соснины и еще кто-то, а теперь погасли совсем, зарыли веселый смех, и их сторожатся родные.

Приливало собственное — гибель светлого, моего, и отходило снова. Шипел ужас убийства, подкатывал к сердцу, туманил багровой кровью мозг — страшным наливал кости, откатывался странно, точно выкачивали шипящее, и снова — гибель светлого, своего. Так, чередуясь, цвело багровое.

Не выдержал Андрейша, молодой мужик; поднялся с земли неслышно, как тень, закачался, мглисто сжимаясь, к калитке.

Могильно спросил кто-то со страхом:

— Ты куда?

— К черту на кулички! — ответил Андрейша уныло.

— Ополумел?! Тебя.. посадят.

Не ответил мужик. Стукнул мягко калиткой и зашагал огромными шагами к дому.

Ярко взглянули на него в одном месте окна школы, бросили какие-то крики, но точно сном прошли окна, не оставили следа. Оступался в камнях по дороге, запнулся на мостике, ругнулся по привычке, и все это, как сон, шло стороной.

Горела душа, но черным пламенем, и темно было в ней. Жило одно: стоит он с винтовкой, маячит мушка на стволе, разрез прицела, а дальше страшно знакомый, но впервые видимый человек. И это все, что жило. И не уничтожить этого, потому что так будет, и не миновать этого, потому что так приказали.

А временами не было ни страха, ни горя, ни стыда, ни ужаса, ни страдания — исчезало все, и облегла покойная тишина, где не было мысли.

Взял за грудь костистой рукой, потянул. Затрещало на груди.

Опустил руку, остановился.

Залаяла собака, точно во сне. Поднял камень, бросил туда, где собака. Грохнул камень о доску. Развлекло. Еще бросил, но опротивело тут же. Зашагал к дому.

И когда дошел до ворот, безрассудным показалось — уйти.

Опрыснуло ярко малодушие — и ушел околдованный сон. Еще и нет ничего и не будет, может быть, ничего, а он испугался и сбежал. И разве скроешься дома?

Почувствовал сразу дорогое — жизнь... Отстранилось все, что там, на косогоре, где волесть, вдохнул родное.

Прошел совсем веселым в пригон, вспомнив вдруг, что отпустил к сену лошадь в узде, и совсем радостно погрозил, когда ударила лошадь по плечу удилами:

— Шали-и!..

Снял узду, вернулся к телеге и... победил к волости, палимый огнями. Нашел страх: а вдруг солдаты узнают, что ушел он?..

Звенел в ушах, тупо бил деревянным суком по сердцу, подсекал острыми ножами ноги.

А у калитки волости остановился, пугаемый тишиной: может быть, все там расстреляны!.. Напряг слух, затаил дыхание

и — вздрогнул покойнее: храпел сонный человек.

Присел, было, на лавочку перевести дух, но встал тотчас же: пронзило смертельно острое, незнакомое и странное, что-то новое и бестелесное, такое, бороться с чем уже было нельзя.

И устремился в темную неизвестность, умирая в прошлом, настоящем и грядущем.

Окаменелое лицо уже потеряло улыбку.

## 6

Шумело в школе, гудело, как в улье.

Веселились люди, точно на обычном празднике.

Как-то отошли от них те, что в последних усилиях отбиваются в горах, и те, что наступают на них с пулеметами и пушками, и те, что сидят в каталажках... Отошло как-то все, или показывают офицеры, что отошло, и веселились, как в обыкновенное бескровое время. Просто — справляли праздник весны.

Разлили по классу много света, много шума и хохота, раскрыли окна, словно отодвинули стены до самой площади: пусть смотрят, как пирует офицерство.

Вот приговорено тринадцать к смерти — и пусть будет так. Быть может, завтра, еще с привкусом пьяного угара во рту, они расстреляют их... Но теперь все это далеко. Теперь праздник весны и победы.

Мешалась интеллигентская речь с солдатской нарочитой грубоватостью, веселое бахвальство — с крепкой руганью.

Совсем мальчишками были некоторые и вели себя по-мальчишески: кашляли от непривычного самогона и восхищались им, точно пьяницы, причмокивая губами. Пьянели быстро, забывали, что тут и что там, за дверями школы. Упивались офицерскими чинами, невозможной возмужалостью и хотели вести себя, как старые, во всем опытные офицеры. И вспыхивало временами неприятное.

Подошел юноша с нежными чертами лица к усатому офицеру, что стоял у окна, и, смешно пыжась, заявил:

— Господин поручик! Вы не изволите пить с нами?

Посмотрел тот на звездившийся вихор юноши и спросил грубовато:

— Это удручает вас?

— Да!.. — с вызовом ответил юноша. — Да! Да!.. Вы пренебрегаете нами... Если хотите, вы оскорбляете нас... Мы, юнкера, дела делали...

Скривил губы усатый, ошетинился и бросил, отвертываясь, через плечо:

— Дурак!..

Поднял юноша крик на всю залу:

— Господа! Поручик Грязнов оскорбил офицерство... Я требую удовлетворения... Оскорблен мундир офицера!..

Но узнали старшие, в чем дело, и засмеялись все. Видимо, поняв безрассудство свое, присел юноша к столу и выпил один за другим два стакана самогонки.

А штабс-капитан Щербинин собрал молодых слушателей и, веря сам в дикую глупость свою, развивал, как любил повторять, «философию войны».

— Кто говорит — война зло? Вранье!..

Большевики говорят это да фантазеринки. Что будет, если умрет война? Ничего не будет! Все сгинет, все человечество! Все бабами будут, слонтяями, не будет сильного человека. Юбки наденут вместо галифе... А что станет через тысячу лет без войны? Борьба требует поле битвы, а оно заселено будет — как микробы расплодятся люди: и пахать негде будет, коров пасты негде! Перенаселение земного шара грозит человечеству... Вот!

И говорил дальше, утверждая якобы единственное и неопровержимое:

— Кровопускание... Ч-чистка — вот смысл философии войны! Разве помнит земля, чтобы хоть день не было войны! Война — борьба за существование в мирах всего живущего. Кровопускание... Как встало на ноги из колыбели человечество — война не прекращалась...

И смеялся громко и победоносно:

— А тут явились плюгавые умники и пишут: «Долой войну!» Да как без войны? Перестроить человека?.. Природу?.. Х-ха-ха — ха-ха!.. Н-не бывать этому! Философия войны сильна, как динамит... А мы... мы — динамит! Мы — офицеры!..

Крикнул кто-то, захлопав в ладоши, и увлек других:

— Браво! Бра-аво!..

— Да здравствует война!

— Долой большевиков!

Разразилась зала дикими криками, топаньем, свистом. И кричал, хохоча, сам Щербинин:

— Долой!.. Да здравствует кровопускание!

Сверкнула шашка, другая.

— Клянемся!.. Философией войны!..

Кто-то выхватил из кобуры револьвер и выстрелил в потолок.

Показались скрытые лики. Ясно было: жили все тут в длительном кошмарном бреду.

Пьяными, безумными глазами смотрел на все доброволец Паша, смотрел так, точно внутри его лежал порох, и он слушал, как подбирается к нему искра, и ждал — вот-вот взорвется.

И вспыхнул вдруг Паша. Закружился по залу мятежно, схватил кого-то отбивающегося за талию, закричал, покрывая общий гул визгом:

— Му-уззы-ку-у! Вальс! Пляс-с-с-саты!

А топтался один — дико, безудержно, пьяно, точно избивал кого-то в припадке свирепой злобы:

— Больше-е-вики-и!.. А-а-а, тут! Чу-увствую-у! Кости хрустят! Чувствую-ую!

Но, спохватившись, остановился и сгладил дикий порыв:

— Да здравствует учредительное собрание!

— Ура-а-а!

А Владимир Сергеевич, всеми уважаемая теплая душа, махнул платком и попросил слова. Стихнули и удивились тишине. Поднял стакан Владимир Сергеевич и сказал проникновенно, убедительно, как никто не умел тут сказать:

— А я за монархию хлопну, милые братцы! Не досрости мы еще до республик, господа офицеры... Да, милые ребятки!

И выпил.

И ему поверили все: не доросли... Может быть, и раньше верили этому и подчинялись лозунгу учредительного собрания лишь потому, что жил он где-то там, в верхах, нужный власти верховной.

— Бросьте политику, а? — попросил еще Владимир Сергеевич. — Ну ее к черту, политику! И большевиков к черту, всех! Офицеру политикой заниматься несподручно. Али не можем повеселиться без криков, без стрельбы? Спойте лучше что-нибудь.

— Правильно!.. К черту все! — поддержал осторожно, по-трезвому Гена.

— Сначала «Боже, царя храни», ладно? — попросил Владимир Сергеевич.

— А потом «Реве та стогне»?

— Во-от... Так, так, господа.

Но уже запел кто-то приятным тенором, немного качающимся от хмеля:

— Бо-оже-е, царя-я храни-и-и!

А хор подхватил стройно, как когда-то на вечерней молитве солдаты.

## 7

Привычные к попойкам, почти трезвые Гинс и Владимир Сергеевич, а с ними Гена, еще пьяный, с тусклым взором, сидели глубокой ночью в полугоре против волости, пили ночные ароматы весны, слушали шумы реки.

По-другому пьянила ночь — не угаром, а торжеством лучезарных былей.

Горели яркие звезды, пылало темным бархатом небо, спала земля, словно грешная, но милая бездна.

И мила была недалеко мерцавшая волость, и милы были пятна света там, где школа, — яркие стружки во тьме.

Размякла твердая душа Гинса, будто в первый раз прикоснулся он к краю благозарной ночи, и опалились гнойные болячки. И жестокое сердце размякло — стала милой военная грубоватость и черствость мужская. Говорил хрипло, баском, лаская:

— Ах ты, в рот те пирога с кашей, а?

Ночь-то, а? Красота-а-а-то, а? И не видишь, не слышишь божества этого с проклятой войной! Не видишь, не слышишь, а, оказывается, как хорошо в мире божьем.

Потряс головой, крикнул:

— Отбились от бога, от настоящей жизни отбились. Изничтожили ее, опачкали кровью да ненавистью окаянной... А почто? Золото мерзопакостное командует, стали пешками толстопузых развратников...

Но махнул рукой к школе и прервал себя:

— Хорошо!.. А вон там, в школе, безобразия! Не похоже, что люди...

— Да-а... — тянул Владимир Сергеевич. — Действительно, безобразия... А благодать-то, радость ночная — чудеса!

Сидел Гена, опираясь ладонями о землю, слушал, и воском расплывалась душа, смотрел прямо в ночь и в приливе восторженности, задыхаясь, предложил неожиданно для себя:

— Давайте сделаем всем счастье!..

— Милый юноша! — ласкал тихим смехом Гинс. — Ну, давайте, чтобы всем...

— Всем, всем!.. — вспыхнул Гена, обводя рукою все вокруг.

— Милый юноша, нежное сердце! —

Гинс осторожно прикоснулся к вспыхнувшему пламени. — Всех бы любил, и врагов, и злодея! Золотая юности!

— Сделаем, папаша! Эх, гуляй, человек!

Молчала ночь, шумела река, молчали люди. Заговорил с хрипотой, но уже отрезвленный Гинс:

— Гуляй-то гуляй, да о себе не забывай...

И совсем хмуро:

— Бросим-ка об этом. Что несбыточно, то несбыточно... Да-с-с. Чему, видно, быть, тому не миновать. — И закрихтел, поднимаясь с земли: — Нн-у, братцы, поговорили, пора и честь знать... Айда-ко допивать недопитое, а-с?

— И то... — сказал Владимир Сергеевич.

А Гена — опять уже прежний Гена — с пьяным угаром в голове, с потушенным сердцем, взвился молодым зверем с камня и запел, пронзая тьму:

— Бо-оже-е... царя-я хра-аа-ни!..

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Еще не говоря ни слова, еще не оглядевшись в темной катажке, все шестеро сразу осознали — без разума, одним чувством прозрели: отсюда нет дальше дороги для них. Тут край земли, рубеж, за которым — тьма.

Хотя и раньше предугадывали это все, еще когда шли по горным тропам под конвоем, но смутно и отдаленно, а тут утвердил предугадываемое унтер-офицер, посеяв еще не понятый до конца ужас. Пригвоздил мозг своим «чики-чик» и ушел.

Но чувствовал прежде всего и острее всего Николай непреодолимую усталость. Ныли руки, дрожали пальцы, подкашивались ноги. А когда сел на нары, разулся и оцупал мокрую от крови мозоль, удивился: неужели правда здесь конец всему, неужели так скучно и буднично может кончиться все? А тело несказанно было радо покою. Не было даже страха: вот настанет час, и пойдет он отсюда на казнь — только на казнь и никуда больше. И, быть может, он уснул бы тот же час, отдавшись беспредельному отдыху, как умученное молодое животное, если бы не мешало это странное, никогда не испытанное ранее с такой силой удивление.

Не менее Николая устали и другие и, быть может, удивились сначала, как и он, освобождаясь понемногу от странного ощущения, но по сосредоточенному молчанию мгновенно осознал Николай, что отдались уже люди острому страху и изнывают в молчании, напиваясь темным ужасом. И его охватило уныние, вытеснив удивление, и услышал он, как наполнилась катажка безголосым воплем страданий; стало тяжело и больно; казалось ему, что стиснули люди крик и задыхались в смертельных корчах перед голой правдой. Николай отодвинул себя куда-то, точно вынул себя из этого страшного мира, точно провел черту между собой и товарищами; закрыл глаза, чтобы не видеть собственных мучений.



Украдкой заглянул к себе в душу, заглянул осторожно, чтобы не опрокинуть того, что поставило его на расстояние и от товарищей, и от себя, со стороны взглянул в собственное лицо. Но тотчас же и отвернулся: плыла там яркая жизнь, смеялась солнцу, тихими лучами тянулась к гармонии, а смерти не было. Не было! Отвернулся, чтобы до времени не потушить самого себя. Но и затрепетал тут же, как тронутая струна: все-таки этого Николая, радостного Николая не будет — потухнет мысль, потухнет гармония вселенной...

Николай сжался до предела, как пружина, тряхнул головой и поднялся на локте: кто же все-таки тут из тринадцати?

Время текло незаметно, сгущались по углам сумерки.

Среди каталажки стоял студент Рохов, прямой, высокий, и поблескивал медными пуговицами тужурки.

И вздрогнула опять струна, наполняя шемпящим звоном голову: Зина-а!.. Здесь нет Зины! Как случилось: здесь нет Зины?! До боли стиснул зубы. Тело не повиновалось желанию встать, осмотреться, а внутри все извивалось в муках: Зина!

И так мучился молча, пока к нарам не придвинулся Рохов.

— Устал, брат, чертовски... — произнес Рохов, поймав на себе взгляд Николая.

— Где Зина? — коротко и хрипло спросил Николай.

— Где? Не знаю... В той каталажке... наверно.

— Рязев там каталажка?

И разорвана была каменившая людей полоса молчания. Было так, как и ожидал Николай: уронить слово — и поднимется говор, и станут все нагими в своих страданиях.

До чрезвычайности спокойным, даже святотатственно веселым тенопом заговорил железнодорожник Игошин:

— Уд-дивительно-о. Маля Митперна!.. Почему, ну почему не покормили? Вель люди мы! А еще обещали — калача с маслом ладим...

Кто-то открякнул, сплюнул легонько и ответил спокойно:

— Квчиш с маслом! — и добавил, стараясь сказать не менее весело: — А вель совсем как в теплушке... Крути, Гаврила!

Узнал Николай по голосу Иванова, мрачного красногвардейца, и извмился его теперешней беспечности. И оттого, что ни Игошин, ни Иванов не вспоминали своими голосами о своих муках, пришло на мгновение тихое успокоение и говорить стало легко.

— Да, значит — крути, Гаврила, — и замер голос Игошина, навис зазвеневший в нем тоской. — А сколько у нас тут комиссаров? Два?.. Ну, ладно, не выдавай, товарищи, друг друга.

— То есть, в чем дело? — осведомился Рохов.

— А в том... Может, только вас и вздумают расстрелять... Или всех или никого. Нет у нас комиссаров, и все тут!

— Почему? — спросил пимокат, выдавив глухо, точно отвалил ком глины. — Почему это, а? Ах, растак вашу мать! Ко-

мисса-ар... Комиссар! Да черт вас бей! Холера вас давил!..

И начал изрыгать глухо и победоносно потоки позорной брани. Бранил и горы, и солнце, и бога, и детей своих в городе, и комиссаров, и себя... Только плохо ворочался язык, не выговаривал слова часто, гудел, брызгал слюной, и никто не смел остановить пимоката. Слышали все: уже не пимокат, отважный в боях, бранился, а бунтующая в нем злоба бессилия.

Так же глухо замер пимокат, как начал. Растаял, расплылся в мраке и голос его и брань, и стало в каталажке душно, а Николай подумал с каким-то злым удовлетворением: «Это... Это настоящее...»

И снова прислушался к стону струны: «О Зине забыл... забыл ведь? Прежде я сам — как зараза...» Спыхватился, ощутив прилив сил: «Надо увести их от заразы!»

— Товарищи!.. Ужасающую глупость мы сделаем, глупость, если закроем глаза... Надо смело брать вещь в руки и не страшиться темных углов. А потому каждый из нас... — голос Николая окреп. — ...Для того, чтобы не сломило нас... Слушайте, товарищи: ежечасно, ежесекундно, и всегда, и каждый, мы все, товарищи, живем идеей... идеей революции. Товарищи, мы все знали и знаем, что... рано или поздно умрем, теперь мы знаем больше — умрем, вероятно, завтра...

— Плохо митингуем, — тихо прервал Николай Рохов. — Умный человек, а ерунду говоришь: знали — не знали...

Наступило молчание, чуткое, тягостное.

Николай смутился: он, действительно, митинговал, он, действительно, воодушевлял! Какой смешной, глупый самообман! Идет смерть вслед за каждым из нас или не идет?.. Будет она рано или поздно или не будет?.. Господи! Угнетает молчание, угнетает тьма, что опускается на каталажку вместе с гаснущим восточным небом, что ползет медленно и незаметно, но все выше, выше, заливая сердце хололом. И провало вдруг как плотину: «Ведь ложь все это! И думаю — ложь!.. И чувствую — ложь!.. И говорю — ложь!.. И все — ложь, ложь! Все не то, не то, не то!..»

— Да говорите... Ну, говорите... Говорите же, сукины дети! — потребовал придушенно пимокат.

— Вы не сердитесь на него, — попросил красногвардеец Иванов. — Это, как его, чему же в пимокатах научишься, кроме матепков ла поганства?

— Он хороший, — заступился и Рохов. — А это — ничего. Тут нет женщин.

— Что-о? — спросил Николай и тут же осекся, словно наткнулся на что-то острое. — Да, да... Зины здесь нет.

— Нет, ей-богу, братцы-товарищи, вникните! — Иванов отделился от темной стены и вскинул руки. — Вникните! Четыре года, братцы, кровопролитие... Германская, гражданская... И конца не видно! Вникните: народу погибло... миллионы... И гибнет, гибнет... Что же будет, братцы?..

— Верно, товарищ, — перебил пимокат. — Верно: ожил дракон, пожирающий царства. Сгибнут людишки, как мошкара осенью... Кровавы реки затопили все. Страшно!

Поднялся Рохов, перешел от нар к печи и встал спиной к ней:

— А мне не страшно!.. Не страшно!.. Все идет так, как надо, все так... Закон революции — на это шли: убиваешь — и ты подвержен уничтожению... Революция не шутит!

— Постой, брось это, — снова заговорил пимокат. — По-русски говори, прямо: за что сейч-час меня убивать, за что? За то, что сдался? За то, что жить хотел людски? А если я не желаю! Если дети у меня?! Ну, жить желаю если, а?! Отвечай!.. По-русски..

— Не спросят, — ответил Рохов, — одному закону подвержены..

— Та-ак! Значит, та-а-ак!.. Хорршо!..

И вдруг пимокат оборвал себя, будто остановил гремящую телегу. Ждали — взорвется опять, но он схватился за грудь, перекошил лицо в болезненной гримасе и отвернулся. Никто не вздохнул даже, но все почувствовали облегчение.

А тьма между тем наваливалась все плотнее и плотнее. Она отделяла каждого друг от друга, от стен, от потолка, от вселенной, заставляла, требовала думать о себе, о завтрашнем дне, о завтрашнем солнце. Смертельная усталость мозга, нервов, души тисками давила Николая, и он только хотел расслабиться, покойно вытянуть руки и ноги, постараться уснуть, как из темноты раздался чей-то угрюмый голос:

— Я тоже умер... Я тоже умер... — Помолчал и снова поволочил слова, как канат по песку: — Я то-же у-у-мер...

— Позовите его! — воскликнул Рохов.

Растерялись, не знали, как, а тот из темноты уже не мог остановить себя:

— Я тоже умер... Окончательно? Умер? По-настоящему? Ну-у, шалишь! Окончательно не может быть! Завтра? Окончательно? Умер?

Потом добавил легко и просто:

— Неправда, не верю, не убьют.

— Ну вот, — улыбнулся Николай голосом, — так, точно... Вот и чудесно...

— Товарищи, давайте не говорить о ней... Черт с ней, товарищи. а?

— Правильно, — согласился Рохов, пытаясь рассмотреть сидящего в темноте. — К черту, так к черту! Если будет что, я прямо в харю ему, горлопану... На-ко, мол, выкуси, подлец!

— Дай руку, друг, — пробубнил Игошин. — Где она у тебя? Я плясать буду, когда... Вот увидите!.. Я веселый, я всегда веселый...

— Сукины дети! Понятно? Вы снова о ней!.. К дьяволу, я спать хочу! — крикнул дико пимокат, оглушая всех. — Молча-ать! Всел..

Вползло молчание, тягостное, длительное, как преступная ночь. Ничего не ждали необыкновенного, но как бы чувствовали: вошел кто-то незримый к ним в молчании и теснил, и сжимал губы, и сжимал мозг, и держал жесткой пвкой сердце. Опять рассеялась мысль, спасающая от страха. Казалось теперь, что Николай и Рохов опутывали призрачным обманом всех, терпким и сладким, как патока, и опять сделалось горько, горчее, чем было до этого.

Не шевелился, не двигался никто. Не

пимокат, конечно, приказал молчать — это смешно было бы Игошину: кто-то приказал молчать! — но казалось все-таки — воздвиг молчание пимокат, и уже никто потом не смог нарушить его. Почувствовал каждый смертельную слабость и голод. Ослабли нервы и дух, и каждый думал только о сне. Но избавитель-сон не шел, и простая тоска, какая бывает со всяким в трудные минуты, охватила их. Точно жало змеи или раскаленный прут железа впивалась она в душу и сверлила, и сверлила, и сверлила... И не сразу поняли они, что это тоска по жизни. Она вздымалась в них, обещая новые страхи и муки. Снова напрягались нервы и замелькали призраки, а молчание и тьма способствовали этому, не отпускали...

## 2

А за окном покоилась глубокая ночь. Неслышимы были шаги ее для людей в каталажке, и не заметили они, как прошла она половину пути.

Четко и ясно шумела река, глушимая немного оконным стеклом: тепло и хмуро вздыхали горы.

И вдруг в первых приступах сна кольнуло остро Николая заоконное, охватило сердце страстным притоком жизни, подняло нестерпимую жажду свободы... Чудилось, стоял он темной ночью на темном лугу — один на всем лугу, на всей земле и упивался свободой; и покорны были ему беспредельно и луг, и ночь, и земля; беспредельно покорны были ему мечты...

Может быть, длилось это один момент. Так же вдруг, как пришло, лопнуло все, как радужный мыльный пузырь. Не осталось ничего, даже желания вызвать видение вновь; не стало тоски, исчезло грядущее, не было, казалось, и самого себя.

Но не удивился Николай ничему. Точно все так и должно было сложиться, точно об этом знал раньше, и дышал спокойно, слушая сон товарищей.

А река ясно шумела, и тепло вздыхали горы.

Поднялся Николай, тревожимый шумом реки и дыханием гор, приник к железной решетке окна и стал следить за движением звезд.

Стоял широким контуром в мутном квадрате, смотрел на восток. От самого окна, казалось, вздымалась гора, приплюснутая теперь пухлой ночью. Плыли из-за нее вверх по небу тихие звезды, а навстречу им коврами-самолетами облачка.

Вспомнил почему-то Николай зимнее солнце. Еще когда был юношей и учился в гимназии, вставал зимами до восхода и упивался стройно-покойной красотой великого бога, создавшего зимние восходы.

В дыму города, в морозной пыли вздымалось солнце из безвестного простого малиновым и огромным. Оглядывался Николай на мигу в комнату и тут воскишался: малиновыми были стены, печь, морозные цветы на стеклах окон. Точно раскаленный малиновый уголь было солнце и чудодейно в малиновое одсвало всю землю: угрюмый собор невдалеке, дома, дорогу, утренний туман...

А дней пять-шесть назад с высот Алтая

видел он летний восход. Шла перестрелка в лесах, где-то глубоко внизу. А Николай стоял над пропастью и наслаждался, отрешенно зачарованный необъяснимой красотой. Но в памяти осталось не солнце, а что-то сплющенное, как огромное раздавленное яйцо, шире «белка»\* напротив... Только это одно осталось в памяти, как обрывок далекого сладкого сна.

— Солнышко, мое милое!

Может быть, сказал так, может быть, только подумал Николай, и тут же перешагнув порог в мир ярких видений. Сами собой вскрылись перед ним небесные миры — не одни живущие, но и те, что погибли, и те, что еще не родились... Розовело небо, кристально струились потоки звезд, вспыхивали и гасли странные их ореолы. Все происходило из бесконечности, все уходило в бесконечность, и бесконечны были пути за путями, скрывая, туманя друг друга, сплетая и свивая блески... И шумы миров чудной гармонией наполняли бесконечное.

— Гармония! Ах, какая гармония!.. — снова сказал или подумал Николай и увидел впереди на вершине горы древнего грека.

Стоял человек с курчавой бородой в длинной пурпурной одежде. Это был Пифагор. Заговорил он не спеша, но и непонятно, и ушел не спеша, все сжимаясь, все вращая в себя. Вот мальчиком сделался, луковкой, точкой и в конце концов исчез из поля зрения, превратился в атом.

— Атом! — подумал или сказал Николай. — Человек — атом! Но и земля в вихре светил — атом, и солнце со своими спутниками — тоже атом! А разум Пифагора? А разум?! — и замер Николай, не думая больше ни о чем, не видя ничего, словно умер.

Но не ужас обволок мозг перед неразрешимой загадкой миров, а все умиротворяющая гармония видимого и невидимого в темных небесах. И тут же вдруг вспомнилось милое малиновое зимнее солнышко. А как только вспомнилось оно, поблелело небо, и спустя минуту на вершине горы пересек бледное облачко малиновый крест с человеком на нем...

— Голгофа! — и все ярче, все отчетливей выдвигал крест Николаю. А когла стало больно глазам от малиновой яркости, стал таять крест, меркнуть, погружаясь в туман. И ночь стала темнее, чем была.

— Это я! — снова подумал или сказал Николай. — Это я!..

И еще хотел смотреть на видение. Еще хотел погрузиться в хаос вселенной, думая проникнуть в сокровенный смысл ее — к чему все это, или просто ради хаоса?

Но полошел Рохов, нажал плечом и зашептал, видимо, мучимый своим:

— Коля? А Коля! Ты послушай...

— Это ты, Рохов? — спросил сухо Николай и услышал голос.

— ...Курочка моя пестренькая... Золотце серлешное...

Плакал кто-то или смеялся, или стонал, но выволил тонко и жалко.

— Постой, Коля... Ты послушай меня.—

\* Белок — снежная вершина.

просил Рохов. — Ну что там, обычная вещь — бред, и ты разговаривал... Нет, вот что я думаю...

И заговорил быстро-быстро, не договаривая, пропуская слова и фразы:

— Да, да... Как разумно... Человек старится и умирает... Разве можно, как вечный жид... одному мозолить землю... Смерть — хорошая выдумка... А если сильный, гений, вечно молодой и вдохновенный?.. Бездарность, та — черт с ней!.. А если безумец гениальный?.. Да он в припадке безумия землю взорвет, светило загасит, всю солнечную систему швырнет к черту на кулички! Надоело жить, а смерти нет и — рраз! А? А если смерть вот тут где-то — ужасно хочется жить... А?.. Вот ничто человек, а силен... Ух, как силен! Но это я так себе... А вот что важно... Да ты слышишь?

— Слышу, милый!

Осел вдруг как-то Рохов и другим голосом спросил Николая:

— Давай помогать друг другу?.. И им?.. Давай, Коля? Вот сидел и слушал: какие муки у каждого! Давай, Коля?..

— Давай.

— Ну, вот... — точно вдруг сложил с себя тяжелый груз Рохов. — Ну, вот, я так и думал, Коля... Ну, вот теперь я спокоен... А то — все от бессонницы... Я не спал еще... Смотри, заря занимается... Устал я и ужасно хочется спать...

И ушел.

Николай, провожая его глазами, все собирал и не мог собрать того, что наговорил здесь Рохов.

А в это время стучал кто-то настойчиво и упорно. Слышал недалеко от себя Николай этот стук, но не понимал долго, что это именно стук. И когда понял, удивился, кто бы мог стучать так, как стучат в тюрьме.

Точно кнутом хлестнуло по мозгу:

— Да это — Зина!..

Все стало ясно и открыто, свалилась тугая коробка с головы, и Николай увидел предметы, понял, что надо делать, и весь устремился к настойчивому стуку: «Зиночка, миленькая... Славенькая Зиночка, не забыла тюрьмы — перестукиваешься... А я забыл... Какой я скот!.. Хорошая Зиночка!..»

Николай приложил ухо к тесаному бревну, а Зина стучала из своей каталажки:

— Николай... Николай...

— Я... — ответил Николай. — Зиночка!

— Не падай духом, Николай...

— Нас освободят — я верю, — ответил Николай.

— Я тоже верю, Коля... Я хочу к тебе...

— Зина!.. Зина!..

Но оборвался вдруг, стих стук, и все поглотила тишина.

### 3

И тех там, где была Зина, поразили в самое сердце слова унтер-офицера: «чичкич». Может быть, была у некоторых надежда, но тут сразу отпало все, — все думы и мечты, как созревший плод. Ничего не осталось после слов унтер-офицера, кроме мрака, тишины, небытия. Все, даже страдания не осталось.

Деревянно вошли в каталажку, на де-

ревянных ногах, с деревянными головами, и деревянно разместились по нарам, по полу. А может быть, усталость так сковала людей, и слова унтер-офицера были последними ударами молота, чтобы сковать их мысль и чувство?

Но молод был Ванюша и горяч. Первым стряхнул он с себя оковы и помог другим. Освободил всех от оков и даже посеял нечто хорошее и желанное, точно впустил в жилы новые струи горячей крови. И сделал это как-то просто и легко, не осозная, что зажег свет во тьме.

— За него же на крест идем, и он же издевается, — сказал Ванюша молодого, но с большой грустью.

Не ответил никто. Странен был голос в деревянной тишине. А Ванюша сказал опять, пробуждая Овчинникова:

— Я про унтера. Не понимает, что за униженных и оскорбленных идем. А кто же он, как не униженный...

— Что?..

Ванюша набрал воздуха, чтобы сказать звучнее, но не успел, засопел кто-то и сказал незнакомым голосом, округляя слова:

— Верно!.. Нас же, некошных, за уши тащат, а мы лягаемся...

— Что?.. — спросил и того Овчинников.

— Это — кто? — уронила тихо Зина.

— Я... Я тут сбоку-припеку у вас... Бобров.

И полил тягуче-сибирским говорком, тонко и задушевно:

— Я по дороге пристал к вам. В Совете дома был, а как погнали вас, вздумали и меня укокошить, свои же, деревенские... контрреволюционеры... Ну куда, думаю, дай пристану к отряду... Да вы что, не знаете, что ли, меня? Бобров я... Ну, Бобров... Эх!

Вспомнил, наконец, Ванюша Боброва.

— Да ведь ты Сибиряк? Так бы и сказал, а то Бобров...

— Чудаки какие мы все! — неожиданно, издаലെка, точно из-за стены, сказала Зина. — Я сейчас только почувствовала это...

— Верно!.. — вклеил Сибиряк свежо и ясно, как говорил всегда. — А что же вы думаете, товарищи? А я так думаю, что врет все этот унтершико. Ей-богу!

— Почему? — удивился Овчинников.

— А вот послушайте. Сулима-то кто здесь знает? Никто. Может быть, я — Сулим... А у нас тут три комиссара... Угадай, кто... Искать — дознаваться будут... Вот и будут искать Сулима, а расстреливать не будут... завтра.

— А ведь похоже на правду! — воскликнул Ванюша. — Для них Сулим важен.

— Я не понял, что тут наговорил Сибиряк. — забубнил глухо Овчинников. — И почему зав-тра не будут расстреливать?

— Вот именно — завтра! — ответила Зина. — То есть, первые дни... Да, да... Ясно же...

Открылась-таки отдушина, легче стало дышать. Прошло онемение, поплыли другие мысли. И только Самойлов, картавый слесарь, не захотел обмануть себя. Сидел он в углу около печки, легонько поглаживал на ноге пулевую рану и постанывал:

— Говорю вам — молитесь. Сто раз

говорил, всю дорогу. Кончено... Молись только — и все тут.

Поверил он, было, однажды Рохову, что нет никакой жизни за гробом, но потом опять вспыхнула в нем с детства впитанная вера, и весь без остатка отдался ей, как любви, и жил ею. И самая смерть для него была только неприятным актом, тягчайшим моментом погружения в новый мир.

— Молитесь и молитесь, говорю вам...

— Нет, отчего же, — ответил Сибиряк, — молитва молитвой, а дело делом... Как говорится: бог-то бог, да сам не будь плох.

— Вот-вот... — подхватил Ванюша.

А Зина ласково подхватила:

— Какой ты хороший, Ваня...

Точно разорван был до сих пор Ванюша: чувства в одной стороне, разум — в другой, а тут вдруг склеила всего юношу воедино ласка женщины, вдохнула бодрость, и поднялся юноша молодым и сильным:

— Ах, товарищи! — воскликнул Ванюша. — Товарищи! Несмотря ни на что, я ужасно рад, что за народ... за идеи иду... за великую идею иду, может, на крестную смерть... Ах, как высок этот жребий!

И не мог ничего сказать больше от волнения и от того, что нет слов выразить точно смысл вспыхнувшего пламени.

— Милый!.. Так и живи, так и веди себя... до конца... Хорошо?

— Молитесь!.. — гулко повторил свое Самойлов.

Но в пустоту кануло мрачное слово слесаря. Светло стало в сердцах заключенных от слов Зины, точно пахнуло ароматом весенней ночи.

— А и верно, товарищи! — просто сказал Сибиряк. — Правильно сказано! И ты так будь около нас тут, как сейчас... сестрой милосердной.

— Да я же так... сестра!..

И вдруг уверила себя тут же, как сказала, что всю жизнь она жила только для этой ночи, для них, возможно, отходящих в безвестный последний путь. И уже совсем как святая успокоила Сибиряка:

— Хорошо, родной!.. Хорошо, мои милые!..

Но недолго длилось светлое вдохновение. Завозился кто-то у стены на нарах, замычал, захлюпал без слов сначала, точно бредил. А потом вдруг взвился, словно столб пламени, завыл мятежно и тонко, пугая всех:

— С-с-сестра! А-а-а... С-сестричка! Шурпы-мурпы!.. Шлю-хохвостики!.. Много вашего брата выдал!.. С офицерами-то мур-мур-мур... Шурпы-мурпы, а?

Покрыл всех, подчинил своему мятежу и властвовал, как вихорь, как бурный поток. Растерялся Ванюша, растерялся Сибиряк, растерялась и Зина. А мятежный уже стоял среди каталажки и сыпал, как из решета:

— Жесткие словечки! Господские чвства! Цветочки-кофточка! Ах, ох! «Милые, хорошие, по гроб мой твои!» Да ну, на кой черт! Ну, скажите па милость, на кой черт мне теперь утепешница твои?! И ты — хрясь, и я — хрясь, и все — грязь! А!.. Эх! И к чему жалкие словечки, ребячьи игруш-

ки?! Как ни пой-успокой — смерть идет!..

И спрятался мятежный, точно налетела жужжащая муха на пламя свечи, обожгла крылья и погибла. Сел снова на нары и зашипел, будто боролся целый час с кем-то.

Опомнясь, хрустнула пальцами Зина:

— Милый Гаврилыч!.. А я думала — растеразешь меня..

Спрыгнул с нар Ванюша и приник к самому лицу Зины:

— Да ведь оскорбил он, несчастный!..

И ринулся к Гаврилычу:

— Ты враг после этого мне!

Но как на пень натолкнулся Ванюша. Дышал тяжело Гаврилыч, молчал. Отпрянул юноша от нар, кинул Овчинникову испугленно:

— Товарищи!.. Да звери мы, звери после этого! Никому не позволю!.. Безобразия!..

— Безобразия, верно... — выдавил Овчинников.

И заговорили враз почти все.

— Харю ему полудить, — весело посоветовал почему-то Сибиряк.

Но и на него накинулся Ванюша:

— Как вам не стыдно! Безмозглое мы стадо после этого! Почему — харя? Почему — драться?.. Товарищи!..

— Ванюша! — крикнула Зина. — Что вы делаете? Как враги... Госюди!

Оглянулся растерянно Ванюша, спросил взглядом Овчинникова, что же ему делать дальше, и поплыл тихонько в угол. И теперь казалось, что один только Ванюша и шумел тут. Стих он — стихло все.

Открылся на мгновение глазок в двери, плеснув светом. Присунулось к нему чье-то лицо, дохнуло и, блеснув острым красным глазом, скрылось тотчас же.

И опять молчание, мрак и холод. Не сказал никто и, быть может, не подумал, кто заглянул к ним и зачем. Живи своим и не показывай другому скрытый лик своей.

А Зина, обвинив себя в том, что сон золотой невольно нарушила, заговорила тихонько певчим голосом:

— Ай-яй, ай-яй!.. Какие сумасшедшие все... Ай-яй-яй! Из-за пустяков, ну, положительно из-за пустяков сыр-бор загорелся... Я вот сразу поняла Гаврилыча, не выдержал он, нервы... Будем правду говорить... Не выдержал. Напомнила я ему сестер на войне, которые не за больными, за здоровыми ухаживали... Тут и наивность моя задела... Бросьте об этом. Я только испугалась, а ничуть не обиделась.

Зина едва не вскрикнула, когда почувствовала, что кто-то схватил ее руку огромными лапами и приник к ней.

— Кто это? Гаврилыч? Милый Гаврилыч, не нало!..

Смотрела в квадрат окна испещренная решеткой ночь, густила мрак, пучужия тиничу, тихонько, совсем в другом мире, шумела река. А Ванюша стоял и недоумевал, что же произошло так быстро и неожиданно с Зиной и Гаврилычем, что нельзя ни говорить, ни дышать после этого. Но смотрел он уже новым, каким-то всепроникающим, всезнающим взором прямо в себя, в свою жизнь, в свою смерть.

Вот поднялся Овчинников, выписовался тусклым пятном на окне, поправил пенс-

не на носу и заповествовал нежданно, туго и глухо:

— Да, вот что... Открылась мне первая дверь — вошел, хорошо, а там вторая — сама открылась: тесно в комнате, страшно и назад не вернуться... А тут вдруг опять дверь... Обрадовался даже... И только переступил порог — уух!.. И — все: бездна...

Молчали все, быть может, и не слушая Овчинникова, а он помедлил немного и повторил, будто ответил кому-то:

— Ну, да — все...

И опять забыл глухо:

— Дело в том, что видение это... пророческое. Год назад комиссаром стал — одна комната, месяц назад — другая, в отряд пошел, а завтра — в третью... Бездна, значит...

— Сволочь! — точно «аминь» произнес расхлябанным голосом Гаврилыч. Подумал немного и еще повторил: — Сволочь и сволочь!

И взметнулся острый голос Сибиряка, забился высоко:

— Ээ-то почему?.. Э-это с какой стати?.. Да у нас в остроге бывало двести ложек за это! Как угодно ругай, но этим словом, как говорится, не шали!.. А тут... Братцы! Товарищи!. Установим правило... Разве можно так, а?..

— Да я тебя али Овчинникова? — спросил сыро Гаврилыч.

— А кого? — удивился Ванюша.

— Да, унтера же!.. Радуетесь, сволочь!

— Ага, это дело десятое, как говорится, — успокоился сразу Сибиряк. — Это — так... А то...

— Стойте! — ухнул басом Овчинников. — Я не досказал... Поэт я, стихи пишу, песни... А! вдруг я — Гомер? Я выше их всех... Ценнее их всех... Моя муза — красный флаг, а они... Да как это, товарищи! Ведь двадцать пять лет мне еще... Товарищи!..

И вдруг точно проснулся Овчинников, оборвал тягучую тяжесть слов и, как раньше, собственным спокойным басом сказал просто:

— Глупо!.. Болтаю и не могу остановиться...

— Ясное дело, как говорится, — подхватил Сибиряк. — Толкуй не толкуй — все одно... Я, слава те, германскую провел, Николашку в Петербурге скovyрнул, у казаконь ночь в амбаре просидел — все, думал, я жив... не ранен, невредим... Судьба, батюшка мой, судьба, и никакой разбейный, расчех не сожрет, ежели не судьба... Ясное дело, как говорится...

И закончил, помолчав, точно ответил наконец самому себе на давно беспокоивший вопрос:

— Ничего, видно... Одно остается — бежать.

— Да молитесь вы богу, несчастные грешники! — выдохнул Самойлов и, как кержацкий наставник, расставляя слова, загудел: — О, мать, пресвятая богородица!.. Мученица пресвятая Варвара!.. Смерть тут, а они, как ребята малые... О, Иисус сладчайший!..

В голосе Самойлова причудливо уживались умиротворение и страшная тоска человеческая по жизни, и, видно, не мог он с

нею справиться, отрешенно творил молитвы больше для себя, чем для них.

Когда замолк Самойлов, наступила тишина, чуткая, тревожная.

В этот момент молчавший до того Калигин строго и ясно, торжественно произнес:

— Простите Христа ради перед часом смертным!

— Господи! — вскрикнула Зина. — Я все, все забыла... Да это же Калигин... А я думала, там он... Коля где, Калигин?

Вспрыгнула Зина на нары и застучала в стену со стоном, со слезами:

— Коля! Николай!.. Товарищи! Да ведь там он, господи!..

Четко выстукивала буквы Зина:

— Коля!.. Я к тебе хочу!.. Верю... Не падай духом...

А силы уже покидали ее.

Тяжко легла на плечи мягкая перина, уплыло из глаза бледное окно.

Долго лежала без сил на нарах и слушала, как холодеет мозг и как в теле бегают-мечутся огненные искры...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

#### 1

Видел Николай, как бледнело небо, как полыхал красным восток, как золотели деревья и вершины гор; видел, как ушли люди из ограды волости: зашевелились они, потом сидели долго, ходили, и вот крикнул кто-то откуда-то, и смело всех — остались лишь серые пятна, где спали.

Дрожала тихая струна в сердце. В ясном утре ясно стало все. А видения как-то забылись, стали чужими. Угнетала лишь тишина.

И когда совсем исчезли очарования ночных видений, огляделся Николай и увидел Рохова. Стоял тот у печи в ореоле солнечных квадратов, бледный и похудевший за ночь, с тоскливыми глазами. Вздрыгнул Николай.

— А я не могу. — сказал Рохов. — Не спал всю ночь, смотрел на тебя...

Хотел спуститься с нар Николай, но почувствовал смертельную усталость во всем теле и боль в ноге, там, где мозоль. Поплыли углы катажалки, печь. Рохов, запыхавшись оранжевый туман в глазах, и Николай присел, обхватив голову руками:

— Присядь рядом, — прошептал Николай.

Заскрипел по полу Рохов, забрался на нары:

— Ты что-то нашел, Коля... Ты — как прежде... А я не могу... Вот спят они или не спят... все бледны, как трупы.

— Видишь ли, — начал Николай, освобождаясь от минутного головокружения, — великое мы делаем на земле... — Он заговорил, продолжая точно минутку назад прерванный разговор. — Философии появлялись и исчезали, системы социальные пушились друг за другом, они пожирали друг друга, чтобы воздвигнуть новую, не похожую на прошлые системы — систему коммунизма, без рабов и господ. Но и эта система, может быть, мгновение в жизни общества. Свободная личность — мечта, и

будет так и дальше, и дальше, что-то и как-то по-своему, без конца... Да не нужен конец, иначе успокоится человек... Да, вот... А теперь что же тут я? Понимаешь?

Потускнел необычно Николай, но не было бледности на его лице. Сосредоточил весь мозг, весь дух, разрешая загадку миров, словно в пустыню без конца заглянул, и она подтвердила все найденное им.

— Пылинка! Даже не пылинки, может быть, все мы, сотни лет идущие к торжеству разума... И как хорошо — вот сейчас — думать, что ты почти ничто... Жив человек, улыбнулся миру, капнул слезу и — будет. А главное, не разочаровался, не устарел. Как метеор, улыбнулся и капнул... Взглянул и — будет, раз нельзя больше... Раз родился, раз сделал кто-то величайшую милость тебе и — не кланчи больше, пришел конец — не хнычь... Ведь конец-то за рождением в этом масштабе. Один вершок жизни, один миг...

Увлекся Николай:

— Целый вершок! Какая громадина, а-а! А почему? Потому, что масштаб мал. Ну-ка возьмем покрупнее. Ух ты, бог мой, как велик мир. Полсотни лет идет свет до земли от какого-то солнца, а за ним еще и еще... Вообрази, там рождаются и умирают целые космические миры, а тут человек плачется... Пойми, как мал тот мир, что мы видим, в котором живем... Земля такая малю-ю-сенькая... Ах ты горе, в лупу не различить ее на карте вселенной...

— Ладно... ты только послушай, — просил Рохов. — Вершок, миг... Пусть, но дай миг хорошо прожить!.. А то безумный король королевствует... Лапами такими, хоботом оцепил шар земной и пожирает, чавкает человеческое мясо...

— Убить короля, — ответил Николай. — Я вот убивал да попался в хобот... Я на это вершок свой употребил...

— Ага! — воскликнул Рохов. — Я понял... Да, да!.. Вот, действительно смысл... Вот, вот...

Смеялось солнце на стенах катажалки, смеялось в деревьях на горе, в воздухе, в щебете птиц. Взглянул Рохов на солнце, на бледных товарищей и побледнел сам, поседел, ушел далеко от Николая, от себя.

Втянув голову в плечи, пошел к нарам Игошин и обратился к Николаю, как к богу, который может все, который может ото всего освободить:

— Товарищи! Во че... Не спим мы? Я, быть может, а?.. Всю ночь думал: не спим ли?

Не удивился Николай безумному вопросу, сомкнул губы и смотрел некоторое время в воспаленные от бессонницы глаза рабочего, точно влиял в них силу и смелость или, наоборот, всасывал их от него для себя.

— Значит, не спим. — решил Игошин. — Ах ты, черт!.. Ну ладно... Нечего чыть.

Хотел еще что-то сказать Игошин, уже раскрылся рот, но заскрежетал замок, раскрылась дверь, и в катажалку толпой, мешая друг другу и не зная, куда деть себя, ввалились те семени, что были пьяны, сонные, измученные до неузнаваемости и постаревшие за ночь.

## 2

Так захватило новое, что не было даже мысли ни у кого — зачем, почему, для чего сводят их в одну каталажку. Раз идут — живы еще, и ничего с ними не случилось за эту ночь.

Первым появился в дверях Овчинников, переступил порог и закрыл собою нечто беспредельное. Стало еще темнее, чем было. Встали рядом к стене Гаврилыч и Самойлов, смотрели чужими глазами на Николая, Рохова, Игошина, а потом замерли в тупом молчании. Стремительно влетел Сибиряк. Оглянул быстро и людей, и стены, и окно, плюхнулся сразу к ногам Игошина на нары и заговорил, размахивая руками:

— Сидим, а? Игошин!.. А там воля! Солнышко-то, пашня-то... На пашню ведь едут люди... А мы сидим!.. Товарищи! Товарищи!!

А Калигин раздвинул на нарах пимоката и Иванова, лег сразу, повернув под голову руку и закрыл глаза.

Последними шли Зина и Ванюша. Пустой взгляд был у Ванюши и держал он голову высоко и высоко поднимал ноги, точно шел по лестнице. А Зина держала его под руку, озаренная милосердием, и говорила, не прерывая потока неслышимых для юноши слов:

— Товарищи! Дайте место Ванюше.. Он болен, товарищи... У него болит что-то... Дайте место...

Ванюша понял, видимо, что о нем заботятся, сам пополз по нарам к стене и забубнил коснеющим языком:

— Спасибо... Я устал что-то, товарищи... Ничего, пройдет...

— Ну вот, — сказала Зина, расправляя сбившуюся одежду на юноше. — Ты устал, милый, усни... Тут хорошо.

А потом выпрямилась Зина, устало забросила за голову руки и, глядя полными слез глазами в лицо Николая, попросила:

— Коля, ты не мешай мне ухаживать. — и ни на кого не глядя, пошла к нему. — Не мешай, Коля!..

Подошла, села рядом, прильнула к мужу. И сидели так без слов несколько минут кряду, как будто переговорили раньше обо всем.

— Вот и прошло, — тихо сказал Николай. — Ты готова?

— Готова, милый! — ответила Зина.

— И я — готов, с вечера еще, с ночи... когда стучала ты мне...

— Неужели, Коля?!

— Не кричи, Зина, нельзя...

А Сибиряк все беспокоил Игошина и беспокоил всех:

— Повезут в город — десять раз убежать можно...

Игошин был ровен с ним, как натянутый канат. Слушал он внимательно Сибиряка, спрашивал и отвечал четко, словно бил по чугунной доске.

— Во-от, — беспокоился Сибиряк. — Убежим в Монголию и — пожинай!

— Верно, как говорится, тут — рукой подать...

Встал пимокат с нар, перешел к печи,

сел там на пол и начал сначала тихонько, потом сильнее бить головой о кирпичи.

— Вишь, вот, — сказал Игошин, — так-то легче ему, видно...

Вскочила Зина, склонилась к пимокату, спросила чуть не плача:

— Товарищ!.. Товарищ!.. Что вы делаете?.. Идите, прилягте... Я посижу около вас.

Покорно поднялся пимокат и покорно ушел на свое место. А Зина уже не могла посадить себя, она толкалась во все углы, склонялась над каждым и каждому говорила какие-то слова, мягко и светло.

— Товарищ, я обойду вас, — сказала она Игошину. — Вы хорошо себя чувствуете...

— Обойдите, товарищ, — серьезно ответил Игошин. — Вот к нему подойдите, — и кивнул легонько в сторону Овчинникова.

И тут же напряжился Игошин, заговорил зычно, точно на митинге, не опасаясь, что его услышат за дверью:

— Э-эх, братцы! Только дай... дай мне волю!.. Только бы наша взяла, пока не решили меня... Уух!.. Не ушел бы от меня ни один офицерик-сударик... У-ух!..

Еще не смолк голос Игошина, как распахнулась дверь, и на пороге вырос солдат с красной щекой и окинул всех круглыми выпученными глазами.

— Спокойно, товарищи! — раздался голос Николая.

Солдат уставился на Игошина и сказал:

— Ну-ка, ты, на работу... Еще кто один?

— Я! — подхватил пимокат.

Игошин прищурил глаз, поднял палец и запел тихонько:

— А-а-а... Во-от оно-о-о...

Вскочил, притопнул ногой и сказал совсем весело:

— Ну-те-с, благословляйте... Плясать пойду!

Солдат почему-то махнул на него рукой и указал на Сибиряка:

— Вот — ты... Айда!

Как только улеглось острое недоумение после того, как исчезли солдат, Сибиряк и пимокат, показалось опять Зине, что обошлось благополучно не только сейчас, но будет благополучно потом, всегда. Будто стало больше воздуха в каталажке, больше солнца.

Вдруг поднялся бледный Рохов, встал в позу и, улыбаясь, легко задекламировал:

Есть упоение в бою.

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане.

Спеть грозных волн и бурной тьмы.

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы!..

— Слышали? — спросил Рохов, все так же улыбаясь. — Такие прекрасные стихи... Упоение в бою — для натуры такой... — и прервал себя, обращаясь к Николаю: — Все-таки убить надо безумного короля... И убью... Как освобожусь...

— Да, да, — затевожилась Зина и подошла к Рохову. — Я тоже так думаю...

И точно в ответ где-то недалеко, за

стеной, лопнуло два-три выстрела и тишину разорвал чей-то вопль.

— Началось! — взвизгнул Игошин и метнулся к окну.

Сразу новыми стали все. Точно вспыхнул где-то рядом пожар и грозит потопить в своем бурном огне каталажку.

Рванулся Рохов, словно с крыши прыгнул, и закричал, как Игошин:

— Началось! — и приник к каменному лицу Николая и зашипел, теряя слова, брызжа слюной, остекленело пуча большие глаза: — Николай! К черту звезды... К черту... Короля убить... Как Аттила, по всей земле пройти надо... Уничтожить, сжечь!.. К черту!..

Метнулся к Зине и, срывая красную кофту, кричал иступленно:

— Ре-во-лю-цио-не-ры! Красный флаг!.. С красным флагом Марсельезу!.. Товарищи!..

Но схватил его сзади Самойлов, повернул легко лицом к себе и стал успокаивать:

— Брось, товарищ!.. Да иди, иди... Теперь сядь-ка и... помолись!

Лицо Николая было словно высечено из камня. Он смотрел на Рохова, ничем не возмущаясь и ничего не говоря. И когда смолк Рохов, перевел каменный взгляд на Овчинникова и опять наблюдал невозмутимо, в глазах его доискиваясь какого-то тайного смысла. Под взглядом Николая Овчинников, внешне спокойно, вынимал из карманов пиджака бумаги, колыхался в едва приметной усмешке и рвал их, иногда поправляя пальцем слабое пенсне.

Растерялась, было, Зина, запуталась в разорванной кофточке, но быстро и окончательно собрала себя, протянула издала руки к Николаю и попросила, просто, как прежде:

— Коля! Ты прости меня... Я ухаживаю. Я не замечаю тебя, Коля!.. Колючка!

— Зина!

Но она уже отвернулась, наклонилась над Ванюшей, потом над Гаврилычем, говорила что-то долго и тепло, тут же забывая, что сказала, и не зная, что скажет в следующую минуту. Слышала Зина за спиной голоса, шепот, едва сдерживаемый всхлип: «Прощайте, товарищи!», «Берегите

себя...», «Братцы!» Как во сне, молча обняла она Николая, подошедшего к ней с застывшим каменным лицом. Как во сне, прислушиваясь к выстрелам за спиной, и нестерпимо звонко звенело в ушах. Слышала, как выкрикнул Игошин: «Готово! Ах ты черт! Кончено, кончено!» И неизвестно зачем сказала машинально Ванюше:

— А я опять одна, Ванюша... Мы с тобой!..

— Я устал, — тяжело, в который уже раз, повторил юноша.

Но Зина взяла за руку Ванюшу и стала поднимать неловкое тело:

— Нет, Ванюша, пойдем... Надо идти, все идут... Надо...

— Надо? — покорно спросил юноша и стал сползать с нар.

Открылась снова дверь, появились какие-то люди, глаза, бороды, зубы, но мутные, точно завешанные дымом.

Только взяла Зина под руку Ванюшу, подошли Самойлов и Игошин, оттеснили ее и пошли рядом с Ванюшей, остановилась в дверях Зина и увидела, как необычно шел Игошин. Он тяжело отрывал от земли то одну, то другую ногу и неуклюже легконоcko притоптывал.

— Пляшет, — подумала Зина.

Ей казалось, что стояла она в дверях целую вечность, пока не двинул ее кто-то в плечо. И как только взглянула на площадку, увидела лицо... Одно мгновение, но запечатлелось оно, будто рассматривала целый час. Свирепо-разъяренное было оно, глаза, налитые звериной тяжестью, смотрели на Зину так, будто она уже не человек...

— Не надо! — крикнула Зина.

А один страшный глаз уже искал мушку винтовки.

Грохнуло и разбилось что-то вдребезги. Блеснуло и посыпало сотни, тысячи красных стекол, и все они летели в Зину, втыкались в голову, в ноги, в кончики пальцев рук, в сердце. Всплеснула глазами Зина к небу, а небо уже застыло недвижимое, черное...

И весь этот день, и следующий день, и еще длинный ряд дней люди в деревне прятались друг от друга.

*Барнаул, 1920*

Сохранилось несколько редакций повести, вероятно, 1920—1921 гг. Печатаются наиболее ясно прописанные картины, взятые из разных редакций. Судя по многочисленным вставкам и вариантам, работа автора над повестью не была закончена.

В последнее время произведения Ст. Исакова опубликованы: «Без имени» — «Сибирские огни», 1969, № 8, «Оскудевшие» — «Сибирь», 1971, № 1. Появились работы о нем: «Степан Исаков» — в кн. Г. Раппопорта «Страницы литературного прошлого Алтая»: Барнаул, 1958; Ю. Постнов «Из истории литературной жизни Сибири в период Октябрьской революции и гражданской войны» — в сб. «Культурное строительство Сибири»: — Новосибирск, 1965; «Степан Исаков» — в кн. Н. Яновского «Голоса времени»: — Новосибирск, 1971.